

Г Ф. КОРЗУХИНА

СЕРЕБРЯНАЯ ЧАША ИЗ КИЕВА С НАДПИСЯМИ XII в.

Судьба киевских кладов после их находки полна необычайных, иногда трагических случайностей и у каждого из них своеобразна. Лишь немногие спокойно достигали хранилищ, но сохранность их и там не всегда была гарантирована. Некоторые клады прошли через многие руки и только после длительных скитаний попали в музеи. Этот длинный путь не всегда проходил для них бесследно, он часто отражался на их целостности.

Нередко все усилия Археологической комиссии сохранить клад разбивались о непреодолимые препятствия. Так, буквально на глазах Археологической комиссии погиб богатейший клад, состоявший в основном из золотых с эмалью украшений, найденный в 1906 г. в Киеве на Трехсвятительской улице. Через перекупщиков и агентов он попал в конц-концов к крупному торговцу древностями М. Золотницкому, был тайно вывезен во Франкфурт на Майне, а затем перевезен в Англию и продан по частям в Кенсингтонский музей и Пирпонтю Моргану.¹ Так погибло для науки много кладов. К этому надо добавить, что в коллекциях частных владельцев, так же как и в музеях с плохо организованным хранением, клады депаспортизовались, и в настоящее время стоит большого труда вновь восстановить их первоначальный состав. Депаспортизации кладов во многом способствовала пагубная традиция делить клад на части между различными отделами музеев. Как правило, отделялась нумизматическая часть. Вещевая часть также иногда дробилась по признаку материала (драгоценные металлы, керамика, железные вещи). Явно привозные вещи — восточные, западные — попадали в соответствующие отделы. В результате такого дробления вещи перепутывались, депаспортизовались, теряли свою связь с кладом и переставали существовать как комплекс.

На один из многих подобных случаев я и хочу обратить внимание в настоящей статье.

В 1876 г. в Киеве было найдено два клада, один 18 марта, в усадьбе Лескова, и, меньше чем через месяц, 13 апреля, другой, в усадьбе Юлиана Чайковского на Рейтарской улице. Находка двух кладов на протяжении одного месяца привела к тому, что при распродаже их в розницу состав обоих кладов был перепутан в первые же годы после их обнаружения.²

¹ Архив ИИМК, ф. № 1, д. № 116 за 1906 г.

² В 1882 г. А. В. Звенигородский через Я. В. Тарновского купил один золотой с эмалью колт, проданный ему как колт из клада Чайковского; на самом деле этот колт происходил из клада Лескова. См.: Н. П. К о н д а к о в. История и памятники византийской эмали. Собрание А. В. Звенигородского, СПб., 1892, стр. III. — О н ж е. Русские клады. СПб., 1896, стр. 113. — Архив ИИМК, ф. № 1, д. № 10

В состав клада Чайковского, как это видно из описи, составленной через несколько дней после его находки (до 28 апреля 1876 г.),¹ входили следующие вещи:

«1. Серебряная чашка в виде глубокой тарелки на серебряном же пьедестале с латинскою вокруг надписью и выбитыми внутри и на краях пьедестала украшениями и оставшимися на них позолотами (рис. 1—3).

«2. Такая же чашка меньшего формата с оторванным пьедесталом, на котором верхняя и нижняя часть в позолоте (рис. 4 и 5).

«3. 4 браслета вязаных серебряных (рис. 6 а-г).

«4. 7 серебряных серег большого размера с тремя на каждой бобончиками (рис. 6 д).



Рис. 1. Первая серебряная чаша из Киевского клада 1876 г. с усадьбы Ю. Чайковского.

«5. 4 серьги серебряных, ажурной работы (рис. 6 е).

«6. 2 серьги круглые большие, серебряные, работы ажурной, в кругу которых в виде медальона изображены орлы на обеих сторонах (рис. 7).

«7. 2 серебряных кольца, из коих одно разломанное.

«8. 3 серьги золотые большие, с тремя на каждой шарпками в виде клубники.

«9. 5 больших золотых серег ажурной работы, на каждой по три шарика с остатком жемчужин.

«10. Одна большая серьга золотая, с тремя шариками в виде бобончиков с переплетом.

«11. Две серьги золотые малого размера.

«12. Две серьги золотые дутые, обложенные кругом ободком в виде шариков.

за 1876 г., л. 15 (опись клада Лескова). — В 1883 г. А. В. Звенигородский купил часть клада Чайковского; впоследствии клад был продан им в музей Штиглица и в инвентаре музея он фигурирует как клад Лескова. В составе клада Лескова Н. П. Кондаков ошибочно упоминает серебряные колты с ажурной каймой, которые в действительности были найдены в клада Чайковского: Н. П. К о н д а к о в. Русские клады, стр. 114. — Архив ИИМК, ф. № 1, д. № 10 за 1876 г., л. 15 (опись клада Лескова).

¹ Архив ИИМК, ф. № 1, д. № 10 за 1876 г., лл. 31—33.

«13. Шесть золотых тонких ободков величиною более колец, не спаянные.

«14. Кусок серебра длиною в вершок и шириною в $\frac{1}{2}$ вершка, обломок какой-то вещи.

«15. Коронка резная на круглом ободке, позолоченная, длиною 3 и шириною $\frac{1}{6}$ вершка.

«16. 2 части разломанного серебряного кольца и 14 маленьких кусочков, отпавших от прописанных вещей, в числе которых одна жемчужина (всего 17 вещей).

«17. 3 серьги золотые с тремя на каждой шариками в виде земляники».

Таким образом, клад Чайковского состоял из двух серебряных чаш, двух золотых и двух серебряных колтов, четырех серебряных браслетов, двух «колец», 25 серег киевского типа (11 серебряных и 14 золотых) и серебряного лома.

В вышедшей вскоре после находки клада работе В. Б. Антоновича¹ говорилось, что все вещи были найдены уложенными в большую чашу, и приводилась латинская надпись на ней. Надпись он знал только по рисунку, предоставленному ему архитектором Николаевым. Повидимому, зарисована она была неточно, и от В. Б. Антоновича неправильно прочитанная надпись перешла в «Русские клады» Н. П. Кондакова.² В отчете Археологической комиссии о находке клада сказано буквально два слова.³

Из дела Археологической комиссии видно, что клад в 1876 г. был прислан в Археологическую комиссию, что Ю. Чайковский не прочь был продать его Комиссии, но вследствие каких-то неясных причин 31 мая 1876 г. клад был отослан обратно из Петербурга в Киев.

Спустя семь лет, в 1883 г., часть клада купил у Чайковского А. В. Звенигородский (по описи №№ 1—7). Это были серебряные вещи: две чаши, четыре браслета, два колта, одиннадцать сережек и два кольца. Золотые же вещи — 14 трехбусинных серег, два колта, а также серебряный и золотой лом были Чайковским сплавлены и переделаны им на какие-то украшения для своей семьи.⁴

Повидимому, довольно скоро после покупки А. В. Звенигородский продал клад в музей Штиглица (до 1895 г.). Здесь вещи клада были разъединены — украшения попали в одно место, а чаши в другое.⁵ Украшения считались тогда происходящими из клада Чайковского, а чаши — из клада Лескова.

Счастливая случайность натолкнула меня на след работы Я. И. Смирнова над какой-то серебряной чашей, связанной с Киевом. Благодаря помощи и исключительному вниманию заведующей Фотоархивом ИИМК Т. М. Девель, указавшей мне негативы безымянной чаши и материалы, связанные с ней, в личном архиве Я. И. Смирнова удалось найти сначала снимки одной из чаш, оказавшейся чашей из клада Чайковского, а затем, пользуясь фотографией, найти и самую чашу в Отделе истории западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа.

¹ В. Б. Антонович. Археологические находки и раскопки в Киеве и в Киевской губ. в 1876 году. ЧИОНЛ, кн. I, Киев, 1879, стр. 254. — Он же. Археологическая карта Киевской губернии. М., 1895, стр. 38. — Состав клада указан не точно.

² Н. П. Кондаков. Русские клады, стр. 116—117. — Надпись была прочитана так: «+ Esto memog+qui reficis ven. ere ogo pauperis». Состав клада указан Н. П. Кондаковым по описи в деле № 10 Археологической комиссии за 1876 г., но вещи перечислены не полностью. Изображений вещей клада также не дано.

³ ОАК за 1876 г., СПб., 1879, стр. XXXIX.

⁴ Архив ИИМК, д. № 10 за 1876 г., лл. 39—40, приписки на копии описи клада 1876 г., сделанные в 1885 г.

⁵ Об этом можно судить по инв. номерам коллекции Штиглица: чаши имели №№ 178, 179, а украшения №№ 255—269.

Время и труд, потраченные на поиски чаш, были полностью вознаграждены, так как интерес, который представляют они, а в особенности одна из них, превзошел все ожидания.¹

Большая из двух чаш (рис. 1) представляет собою серебряную неглубокую гладкую чашку в форме полусферы (диам. 0.195, выс. 0.093 м) на невысокой широкой ребристой ножке. Эта приземистая ребристая ножка не совсем гармонирует с простой, совершенно гладкой чашкой.

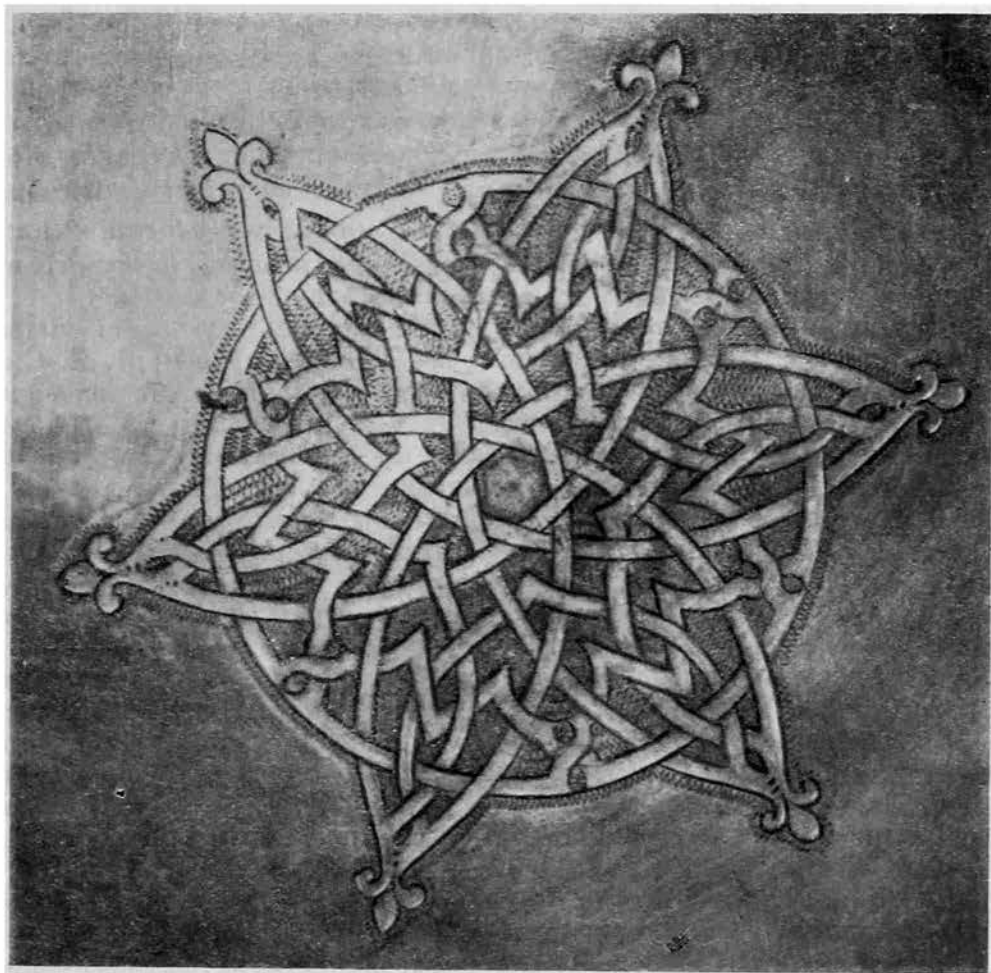


Рис. 2. Первая чаша из Киевского клада 1876 г. с усадьбы Ю. Чайковского. Орнаментация внутренней поверхности дна чаши.

Как чашка, так и ее подставка орнаментированы гравировкой. По наружному краю чаши, между двумя линиями, помещена латинская надпись: *+ qui reficis. ventrem pauperis. esto. memora [+]*, т. е. «подкрепляющий чрево, помни о бедняке».² Под нижней линией, огибающей надпись, сделана бахромка в виде мелких зубчиков («передвижкой»). Внутри чаши, на ее дне, выгравирована большая плетеная заставка в виде круга, пересеченного шестиконечной звездой (рис. 2). Внешние контуры ее также окаймлены зубчиками. Такими же зубчиками («передвижка») заполнен фон между лентами плетения. Плетение состоит из лент, изги-

¹ Приношу глубокую благодарность за розыски чаши научным сотрудникам Эрмитажа А. В. Банк, Л. Т. Гюзальеву и А. П. Султан-Пах.

² Пользуюсь переводом ст. научн. сотрудника ИИМК Е. Ч. Скржинской.

бающихся не плавно и округло, а ломающихся под острыми углами. Все шесть лучей звезды увенчаны трехлистниками.

На нижней части каждой из двенадцати граней ножки помещается стилизованный арабский цветок — многолепестковое растение с острыми листьями. Все они разного в деталях рисунка. Внешние контуры их, а также линия почвы окаймлены теми же зубчиками. Все орнаментированные части чаши и ножки, а также надпись и поясok на месте соединения чаши с ножкой — позолочены.

Основной интерес заключается, однако, не столько в чаше, сколько в надписях, вырезанных тонким острием на ее дне с внешней стороны, между стенками ее ребристой ножки. На дне чаши имеются два слова, не связанных между собой. Одно из них **кънажа**, зачеркнутое множеством процарапанных линий, и над ним более глубоко вырезанное второе слово **сисова** (в две строки); рядом с последним словом поставлен значок типа рюриковичского трезубца, а ниже, под словом **кънажа**, второй значок, еще более глубоко врезанный, в виде незамкнутого прямоугольника, перечеркнутого по диагонали (рис. 3).

Вполне понятно, что чаша с подобной русской надписью вызвала у Я. И. Смирнова живейший к себе интерес. 26 апреля 1915 г. Я. И. Смирнов сделал о ней доклад в Отделении русской и славянской археологии Русского археологического общества. Он был озаглавлен: «Серебряная чаша киевского князя». К сожалению, протоколы Отделения изданы только до 1912 г. включительно, и найти в них след об этом докладе не удалось. Но в личном архиве Я. И. Смирнова¹ сохранились материалы к докладу — вступление (на 1½ страницах в четверку бумажного листа) и выписки и заметки, аккуратно разложенные по обложкам со следующими надписями, сделанными рукой Я. И. Смирнова: «находка и литература», «надпись латинская: чтение и литература», «орнаментация сосуда», «назначение сосуда» и «надпись русская» (всего 39 листов в четверку и осьмушку). Кроме того, в деле имеются карандашные перетирки с надписей и всех орнаментированных частей чаши, а также фотографии, сделанные, очевидно, по его заказу. С русской надписи сделана чудесная макрофотография, увеличивающая ее, примерно, в два раза. В деле имеется также три неаннотированных фотографии каких-то сосудов, определить которые не удалось.

Имеющиеся в деле выписки, заметки и фотографии только отчасти дают возможность восстановить ход мыслей Я. И. Смирнова в отношении большой чаши. Вторая, меньшая чаша, повидимому, его совершенно не интересовала, и в его выписках она никак не отражена.

Крайне увлеченный чашей с надписями, Я. И. Смирнов называл ее «новым даром мне фортуны» (л. 1) и удивлялся, что до сих пор она осталась неизвестной. «Серебряная чаша, которая стоит перед Вами, — пишет Я. И. Смирнов, — была давно, с самого времени ее находки (в 1876 г. в Киеве), известна нашим археологам, была даже ими раза три описана в печати, но не удостоилась почему-то доселе издания; не понято, повидимому, было ее первоначальное назначение и совершенно просмотрены были те надписи, которые дают некоторые указания на ее былую историю. На сей раз, следовательно, речь будет идти уже не о находке, а лишь о досмотре просмотренного». Далее Я. И. Смирнов замечает, что никто не занимается разработкой вопросов о культурных связях домонгольской Руси с Западом и что «археологический, лежащий по большей части втуне материал мог бы пополнить те довольно-таки скудные исторические данные о сношениях этих, которые были отчасти

¹ Архив ИИМК, ф. № 11, д. № 96.

разработаны Вас. Григ. Васильевским в его исследовании о торговых сношениях Руси с Регенсбургом» (л. 1—1 об.).

На этом текст, написанный для доклада, кончается, и все остальное можно пытаться восстановить только по отрывочным выпискам и заметкам, которые лишь иногда приобретают вид более или менее связно изложенных мыслей. Используя архив Археологической комиссии и лите-



Рис. 3. Первая чаша из Киевского клада 1876 г. с усадьбы Ю. Чайковского. Надписи на наружной поверхности дна чаши.

ратуру о кладах (ОАК за 1876 г., Кондаков, Антонович), Я. И. Смирнов обращается к датировке латинской надписи; в выписках фигурируют даты — XI, XII и XIII вв., но его собственная точка зрения на дату надписи не улавливается (лл. 24—25).

Многочисленные выписки, связанные с назначением чаши (лл. 36—43), указывают на то, что этот вопрос чрезвычайно интересовал Я. И. Смирнова. Судя по собранным выпискам из французских и немецких работ, можно предполагать, что на основании текста латинской надписи Я. И. Смирнов считал чашу предназначенной для раздачи милостыни. Среди выписок фигурирует надпись на свинцовой солонке из музея Кюни: *cum sis in mensa, primo de paupere pensa; cum pascis eum pascis amice deum*, т. е. «когда сидишь за столом, прежде всего думай

о бедняке; когда пасешь его, пасешь, о друг, (самого) бога».¹ Надпись эта, повидимому, заинтересовала Я. И. Смирнова сходством своего содержания с надписью на киевской чаше.

Серия выписок из иностранной литературы об обычае раздавать бедным милостыню завершается ссылкой на наши летописи. «С особой яркостью, — пишет Я. И. Смирнов, — эта обязанность князя не забывать, пируя, о бедных, выразилась в летописном сказании о Владимире. Лаврентьевская и Ипатьевская летописи 6504 (996)» (л. 43). Под этим годом в летописях рассказывается, как Владимир «устави на дворе в гридьнице пир творити», «повеле пристроити кола», на которых развозили хлеб, мясо, напитки для немощных и больных, которые не могли «долозти» его двора. К вопросам, связанным с назначением чаши, я вернусь несколько позже.

Не меньше, чем назначение чаши, интересовал Я. И. Смирнова и вопрос о ее происхождении (лл. 27—32), которое он старался установить на основании ее орнаментации. Листы, посвященные этому вопросу, имеют характер довольно связно изложенных соображений, носящих полемический характер. В них Я. И. Смирнов полемизирует с Г. И. Котовым, который, повидимому, еще до доклада сообщил ему свою точку зрения на происхождение чаши. Повидимому, Г. И. Котов считал, что чаша сделана в Италии и орнамент ее исполнен в стиле сарацинских плетений. «Мы полагали бы, однако, — пишет Я. И. Смирнов, — не обращаться к сарацинам без особой и очевидной нужды и искать источников этих плетений в плетениях Карловингских и Рима и Италии» (л. 29). «Кругообразные, составленные плетениями полосы орнамента можно найти и на почве Западной Европы» (л. 31). «Отрицать предполагаемое Г. И. Котовым итальянское происхождение сосуда мы, по правде говоря, — не можем, но лишь не зная ни аналогичных несомненно итальянской работы вещей, но не зная и иных, ближайших к сосуду» (л. 32) (повидимому, подразумевается «аналогий»). Как видно из приведенных записей Я. И. Смирнова, он не пришел к определенному выводу относительно происхождения чаши. Из остальных заметок его видно, что он считал возможным установить лишь то, что орнамент чаши, как плетенка, так и листья на ножке, принадлежит «романской эпохе», но ни одной более или менее близкой аналогии чаше он найти не смог.

Правда, существует один документ, из которого как будто следует, что Я. И. Смирнов в конце-концов убедился в южноитальянском происхождении чаши. Это акт на передачу чаш из музея Штиглица в Эрмитаж, составленный Э. К. Кверфельдом 24 октября 1924 г. В специально сделанном Э. К. Кверфельдом примечании к акту говорится: «По докладу Я. И. Смирнова в Археологическом обществе 26 мая ² 1915 г. эта чаша найдена в 1876 г. в Киеве (Рейтарская ул.) в усадьбе Чайковского, относится к XII или XIII ст. и южноитальянской работы».³ Примечание это сделано Э. К. Кверфельдом, повидимому, по памяти и к нему следует относиться с осторожностью. Возможно, что в результате прений по докладу, Я. И. Смирнов в конце-концов и согласился с мнением Г. И. Котова относительно южноитальянского происхожде-

¹ Пользуюсь переводом Е. Ч. Скржинской. Надпись на солонке Я. И. Смирнов цитирует по: *Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonné du mobilier français. . .*, т. II. Париж, 1874, стр. 150. — *A. Schultz. Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger*, т. I. 2-е изд., Лейпциг, 1889, стр. 375.

² Месяц указан ошибочно: доклад был сделан 26 апреля 1915 г., см. л. 1 дела № 96 фонда № 11.

³ Дело актов приемки за 1924 г., хранящееся в Отделе культуры и искусства Востока.

ния чаши. С другой стороны, фигурирующая в акте дата, XII—XIII вв., должна, повидимому, рассматриваться только как самое общее определение эпохи, к которой относится чаша, данное Э. К. Кверфельдом по памяти, но не прямая датировка чаши, данная Я. И. Смирновым. На это имеются некоторые указания в группе заметок, связанных с русской надписью. Судя по этим заметкам, видно, что Я. И. Смирнов старался датировать русскую надпись на основании транскрипции слова **кнѣжа** через **ѣ** и два **л**. Им выписано несколько транскрипций слова «князь» в различных падежах из Остромирова и Мстиславова евангелий и из жития Феодосия Печерского в рукописи XII в. Московского Успенского собора. Никаких заключений о дате русской надписи в заметках не имеется.

На л. 18—18 об. сгруппирован ряд выписок из Печерского патерика: о кладе латинских сосудов, скрытом в Варяжской пещере, и ответы Феодосия Печерского на вопросы в. кн. Изяслава о латинах. Перечисленные памятники указывают на то, что Я. И. Смирнов искал параллели для русской надписи среди ранних памятников XI и XII вв., а не в XIII в. Отсюда следует, что и время самой чаши отодвигается уже во всяком случае в XI—XII вв. и вставленная в акт дата XII—XIII вв. является только самым общим определением эпохи, но не датой чаши.

Так выглядят материалы к докладу о чаше, сохранившиеся в архиве Я. И. Смирнова. Трудно сказать, ограничился ли он тем, что так или иначе отразилось в сохранившихся выписках и заметках, или доклад его содержал что-либо еще, от чего в деле не имеется следов. Судя по имеющимся материалам, Я. И. Смирнова почти совсем не интересовала вторая чаша этого же клада, а также все остальные вещи, найденные совместно с ней. Я. И. Смирнова интересовали в первую очередь вопросы, связанные с происхождением, датировкой и назначением чаши на ее родине, и в меньшей степени вопрос о времени и причинах ее появления на Руси. Меня же интересует прежде всего вопрос о времени и причинах появления чаши в Киеве, где, наполненная русскими колтами и сережками, она и была зарыта в землю. Таким образом через 35 лет после второй находки чаш я хочу продолжить работу, начатую в 1915 г. Я. И. Смирновым.

Как уже было сказано, в материалах Я. И. Смирнова нет достаточно ясных указаний на время и место изготовления чаши, поэтому этот существенный момент потребовал некоторой доработки. Вопрос о назначении чаши не так важен для нас, так как, попав в Киев, она могла найти себе совсем не то применение, для которого она была предназначена на Западе. Однако время и место изготовления чаши имеют существенное значение. Подробное и обстоятельное заключение о латинской надписи чаши любезно согласилась дать старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Академии Наук СССР Е. Ч. Скржинская.

«Латинская надпись из шести слов расположена по краю неглубокой гладкой серебряной чаши и создает впечатление орнамента края сосуда в виде охватывающего его борт пояса. Начало надписи отмечено крестом; слова, кроме одного случая, отделены точками. Буквы размещены между двумя неглубокими гравированными линиями, нигде не выходят за пределы ограничивающих их линий, и на первый взгляд письмо представляется капитальным. Таково оно и есть на самом деле, т. е. форма всех 14 употребленных здесь букв (a, c, e, f, i, m, n, o, p, q, r, s, t, v) — капитальная. Однако, в это капитальное письмо врываются три унциальные формы: буквы «e» — **Є** (трижды: *ventrem*, *pauperis*, *memor*), «m» — **ᵐ** (*ventrem*), «t» — **ᵗ** (*ventrem*). Наряду с унциальной формой, для

тех же трех букв (c, m, t) резчик тут же применил и капитальную (*reficis, esto, memor, esto*). Таким образом, шрифт этой надписи следует называть капитальным с кое-где встречающимися унциальными формами некоторых букв.

«Относительно времени этой надписи по одному шрифту высказаться с определенностью нельзя. Применение как капитального, так особенно унциального эпиграфического письма растягивается в средние века на ряд столетий (до XV в. включительно). При этом средневековое эпиграфическое письмо не изучено, и не прослежена разница между резьбой букв на каменных плитах и на предметах из металла. В виде общего положения можно сказать следующее: унциал латинских кодексов (т. е. книжное унциальное письмо) процветает в IV—VI вв., продолжается до VIII в., а в заголовках живет и значительно позднее. Ввиду того, что унциальная форма буквы *m* (с закрытием левой части и змеевидным изгибом правой) является позднейшим развитием того, что выработал и долго хранил классический унциал **M**, можно отнести надпись — саму по себе невыразительную хронологически — к концу XI — началу XIII в.

«Относительно места, где могла быть сделана надпись, по ее шрифту сказать ничего нельзя. Хронологическое и локальное определение должно быть выведено из рассмотрения вещи в целом и в свете ее связей».

О времени и месте происхождения чаши дала свое заключение старший научный сотрудник Отдела истории западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Э. А. Лапковская. Э. А. Лапковская считает возможным датировать чашу XII в. в целом, не уточняя ее датировки в пределах этого века. При этом она, как и Я. И. Смирнов, отмечает, что ни одной аналогичной чаши ей не известно и что основаниями для датировки могут служить как общий характер предмета, так и отдельные элементы орнамента, в частности, орнамент ножки — так называемый «арабский цветок», широко распространенный в западноевропейской торевтике XII в. По мнению Э. А. Лапковской, своим происхождением чаша, скорее всего, может быть связана с южной Италией. Основным доводом для отнесения чаши к южноитальянским изделиям являются некоторые особенности в характере плетенки на дне чаши. В то время как обычно лента, образующая плетеные узоры, изгибается совершенно плавно, без каких-либо углов, плетеный узор на дне чаши состоит из лент, ломающихся под острыми углами, придающими узору некоторую сухость и резкость так называемых «арабесок», известных в это время в чрезвычайно сложном по своему составу искусстве южной Италии. Мнение Э. А. Лапковской о южноитальянском происхождении чаши, стоящее вне зависимости от ранее высказанного аналогичного заключения Г. И. Котова и, может быть, Я. И. Смирнова, делают южноитальянское происхождение чаши из клада Чайковского довольно вероятным. Ознакомление с западноевропейской торевтикой и другими памятниками XI—XIII вв. как Западной Европы в целом, так и специально южноитальянскими, убедило меня в том, что, действительно, найти близкие аналоги чаше из Киевского клада довольно трудно.

На основании заключений, высказанных в разное время рядом специалистов, я полагаю возможным считать первую чашу южноитальянской по происхождению и датировать ее концом XI—первой половиной XII в.

Еще менее выразительной в смысле происхождения и даты оказалась вторая чаша из клада Чайковского (рис. 4 и 5; диам. 0.155 м, выс. 0.108 м). В отношении ее можно с определенностью сказать только то, что она безусловно не русская. Она представляет, несомненно, меньший интерес, нежели первая, так как на ней нет русских надписей,

она проще, грубее по орнаменту и сделана из очень низкопробного серебра.

Покончив на этом с вопросом о месте и времени создания чаш, обратимся к выяснению дальнейшей судьбы первой чаши, которая привела ее в конце-концов в Киевскую Русь, в древний Киев.

Как указано выше, на дне первой чаши вырезано два слова: **кѣнѣжѣ** и **спасова**. Первое слово зачеркнуто. Очевидно чаша сначала



Рис. 4. Вторая серебряная чаша из Киевского клада 1876 г. с усадьбы Ю. Чайковского.

принадлежала какому-то князю и хранилась в его княжеской казне, позднее же по какой-то причине она попала в ризницу церкви Спаса, где первое слово — **кѣнѣжѣ** — было зачеркнуто, нацарапано второе слово — **спасова** и поставлен трезубый значок, похожий на римскую цифру III. Определить его принадлежность какому-либо князю не удастся. По своему характеру он близок довольно позднему (рубеж XII и XIII вв.) значку на иконе Дмитрия Солунского в Государственной Третьяковской галлерее, который связывают с князем Всеволодом Большое Гнездо. Этот значок похож на римскую цифру II.

По палеографическим данным, обе надписи на чаше безусловно могли быть сделаны в XII в.

Прежде чем заняться выяснением, кому из разветвленного княжеского рода Рюриковичей могла принадлежать чаша, попытаемся выяснить, в какую церковь, посвященную Спасу, она могла попасть из княжеской казны. Так как чаша найдена в Киеве, то естественно прежде всего обратиться к церквям и монастырям самого Киева.

Среди церквей и монастырей Киева, названия которых известны по летописи, церквей, связанных с именем Христа, известно только две: церковь Воскресения и монастырская церковь Спаса на Берестове. Церковь Воскресения ни в летописи, ни вообще никогда не называется Спаса-Воскресения. также как нет церквей Спаса-Вознесения или Спаса-Сретения и т. п. Такие церкви называют обычно просто церковью Воскресения или Воскресенской, Сретенской, Входа в Иерусалим, Вознесения и т. д. Исключением являются церкви, посвященные празднику Преображения, которые очень часто называют церквами Спаса-Преображения или просто Спаса. Какому из праздников, связанных с Христом, была посвящена церковь Спаса на Берестове, мы не знаем. В летописях, начиная с XI в. и вплоть до XIII в., она именуется просто церковью или монастырем «святого Спаса», а именно:

под 1072 г. — «Герман игумен святого Спаса»;

под 1138 г. — умерла княгиня Еуфимия Владимировна «положена бысть на Берестове у святого Спаса»;

под 1157 г. — умер князь Георгий Владимирович «и положиша и в церкви у Спаса святого на Берестове»;

под 1172 г. — князя Глеба «положиша и у святого Спаса на Берестове»;

под 1185 г. — игумен «святого Спаса на Берестове» Лука;

под 1230 г. — дважды упоминается «игумен Спасский» и игумен «монастыря святого Спаса Киеве на Берестове Петр Акерович»;

под 1231 г. — при поставлении Кирилла в епископы Ростова, в церемонии поставления участвовали, кроме Киевского митрополита, «окрестные епископы» и игумены киевских монастырей: Михайло Выдобытьский, Петр Спасьский, Семен Андреевский, Корнил Феодоровский, Афанасий Васильевский и Семен Вскресеньский.¹

Из приведенного перечня видно не только, что церковь Спаса на Берестове неизменно именуется просто церковью Спаса, но и что церковь Воскресения не называется церковью Спаса. Поэтому, судя по надписи на чаше, именующей место ее нового хранения церковью или монастырем Спаса, можно предположить, что чаша была в какой-то момент передана в церковь Спаса на Берестове. У нас нет, конечно, гарантии, что в Киеве не существовало второй церкви Спаса, сведений о которой в летописи не сохранилось. Однако одна деталь делает наше предположение довольно вероятным. Известно, что Берестовский монастырь был княжеским монастырем, расположенным по соседству с княжеским двором на Берестове. В этой связи интересен тот трезубец или родовой знак Рюриковичей, который поставлен рядом со словом «Спасова». Человек, зафиксировавший принадлежность чаши церкви или монастырю Спаса, поставил рядом со словом и трезубец в знак принадлежности ее княжескому монастырю.²

Перейдем теперь к выяснению владельцев чаши до того, как она попала в ризницу церкви Спаса на Берестове.

В 1097 г. венгерский король Коломан женился на дочери короля Рожера Сицилийского Бузилле. Брак длился недолго. В 1103 или 1104 г. Бузилла умерла, оставив Коломану двух сыновей. Через восемь лет после смерти Бузиллы, в 1112 г., венгерский король Коломан, уже старый и обладавший, по отзывам венгерских летописцев, крайне неприят-

¹ Лавр. лет. под 6580, 6646, 6665, 6680, 6693, 6738 и 6739 гг.

² Попутно следует заметить, что мы, повидимому, неправильно поворачиваем княжеские двузубые и трезубые знаки зубцами вверх. Это может быть установлено по тем вещам со знаками, которые не могут быть обернуты в любую сторону. На чаше знак, написанный рядом со словом, обернут зубцами вниз. То же самое наблюдается

ным характером, решил жениться вторично. Его выбор пал на одну из русских княжен, дочь Владимира Мономаха, Евфимию Владимировну. В Ипатьевской летописи это событие отмечено следующими словами: «того же лета [1112 г.] ведоша Володимерьну Офимью в Угры за короля».

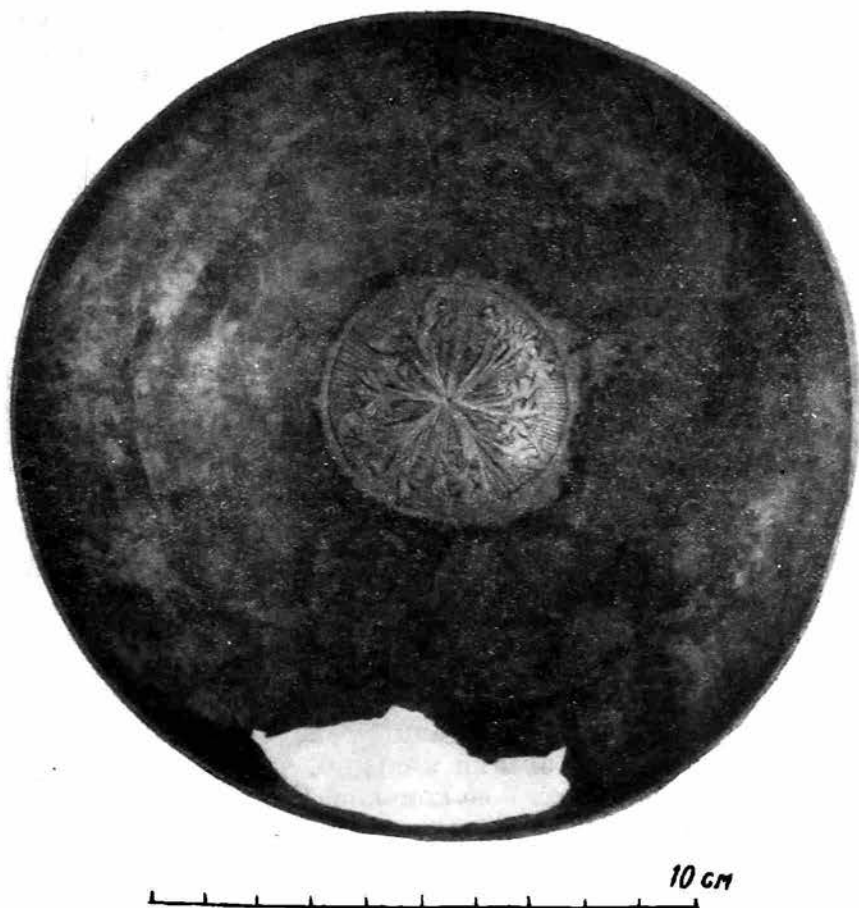


Рис. 5. Вторая чаша из Киевскогоклада 1876 г. с усадьбы Ю. Чайковского. Орнаментация внутренней поверхности дна чаши.

Через год Коломан заподозрил жену в неверности, и Евфимия вернулась обратно на родину, в Киев, где у нее родился сын Борис. Борис Коломанович первую половину своей жизни провел в Киеве. С 1130-х годов он вел безуспешную борьбу за венгерский престол, пользуясь помощью византийского императора Иоанна Комнина.

со знаком, выложенным из кирпича на пилястре собора XI в., существовавшего на территории Михайло-Златоверхого монастыря в Киеве и известного только по рисункам Вестерфельда (Я. И. Смирнов. Рисунки Киева 1651 г. по копиям их конца XVIII в. Тр. XIII АС, т. II, М., 1908, табл. VII, 2). Вниз зубцами обернут трезубый значок, вытисненный на бронзовой трапецевидной подвеске из Белгородки (коллекция Киевского исторического музея, инв. № 25566 — с. 21353) и на ряде литых трапецевидных подвесок из Белгородки, Киева (Б. А. Рыбаков. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси X—XII вв. СА, VI, М.—Л., 1940, рис. 33—36) и из коллекции В. Гезе (собр. ГРМ, инв. № 4769). Вниз зубцами обернуты также значки на литевой форме из Саркела, на матрице для колта (колл. ГИМ), на печати с изображением св. Андрея (Рыбаков, ук. соч., рис. 82—88). Но в некоторых случаях знаки обернуты зубцами вверх, например на таких же трапецевидных подвесках из Киева, Рюрикова городища. (Рыбаков, ук. соч., рис. 31—32 и 37 и собр. ГРМ, инв. № 6978).

Несмотря на помощь Византии, Польши и ряда влиятельных лиц Западной Европы, Борису Коломановичу не удалось завладеть венгерским престолом; между 1151 и 1155 гг. он был ранен в одном из очередных походов и умер.¹

После возвращения в Киев мать его, Евфимия Владимировна, перестала интересовать летописи, и мы о ней ничего не знаем в течение 26 лет. Только через 26 лет русская летопись снова вспоминает о ней, чтобы сообщить о ее смерти. «В лета 6647 [1139] представися Володимерья Ефимья месяца апреля в 4 день, в понедельник порозное недеде»² и «положена бысть на Берестовем у святого Спаса».³ О судьбе Евфимии Владимировны можно было бы и не вспоминать, если бы не чаша, найденная в 1876 г. в Киеве.

Между чашей и судьбой дочери Мономаха, бывшей венгерской королевы Евфимии, прослеживается слабая, едва уловимая связь. Как указывалось выше, чаша могла быть сделана в южной Италии, входившей тогда в состав Сицилийского королевства. Первая жена венгерского короля Коломана, Бузилла, была дочерью сицилийского короля Рожера, следовательно, она приехала в Венгрию из южной Италии. С ней чаша могла проделать первую половину своего пути, из Италии в Венгрию. Вторую половину пути, из Венгрии до Киева, она могла совершить с Евфимией Владимировной, к которой чаша могла перейти после смерти первой жены Коломана. Привезенная в Киев чаша поступила в княжескую сокровищницу Мономаха, где на ней была сделана пометка «**КЪНЯЖА**». Дальнейшей расшифровке слово это не поддается. Оно может быть истолковано как «княжеская» (подразумевается «чаша»), и тогда оно может быть понято двояко: чаша князя или чаша княгини. Думаю, однако, что последнее понимание слова **КЪНЯЖА** будет неправильным. При бесправном положении Евфимии после возвращения на родину, она, повидимому, не имела звания княгини, что видно даже и по летописному тексту, сообщающему о ее кончине. В нем она названа не княгиней, а просто «Володимерья Ефимья». Наименование ее по отцу, возможно, и должно служить указанием на расшифровку слова «**КЪНЯЖА**» в смысле «князя», т. е. «чаша князя», чаша, поступившая в казну князя, ее отца, в семью которого она вынуждена была вернуться вновь, не обладая никакими личными правами. Тем не менее, находясь в казне отца, чаша не теряла связи со своей владелицей и, когда Евфимия в 1139 г. умерла и была погребена в церкви Спаса на Берестове, чаша последовала за ней в виде обычного вклада. Здесь на ней и появилась вторая надпись — «**спасока**» — и родовой знак Рюриковичей — трезубец.

История скитаний чаши, однако, на этом не кончилась, хотя дальнейшая судьба ее прослеживается с еще большим трудом. Из монастырской ризницы чьи-то руки перенесли ее в Киев, на территорию города Ярослава, где она и была, наконец, зарыта и пролежала в земле не менее 600 лет невдалеке от Софийского собора. Трудно сказать, какие обстоятельства сопутствовали выносу ее из монастыря. Это могло случиться, например, в тревожные дни 1169 г., когда впервые в истории Киева войска Андрея Боголюбского «весь Киев пограбиша, и церкви и монастыре, за 3 дня, и иконы поимаша и книги и ризы».⁴ В эти бурные дни, вместе с другим

¹ В. Г. Васильевский. Из истории Византии в XII веке. Союз двух империй (1148—1155 гг.). Славянский сборник, т. II, СПб., 1877, стр. 265—268. — С. П. Розанов. Евфимия Владимировна и Борис Коломанович. Изв. Акад. Наук СССР, Отд. гуманитарных наук, 1930, № 8, стр. 585—599 и № 9, стр. 649—671.

² Ипат. лет. под 6647 (1139) г.

³ Лавр. лет. под 6646 (1138) г.

⁴ Лавр. лет. под 1168 г.

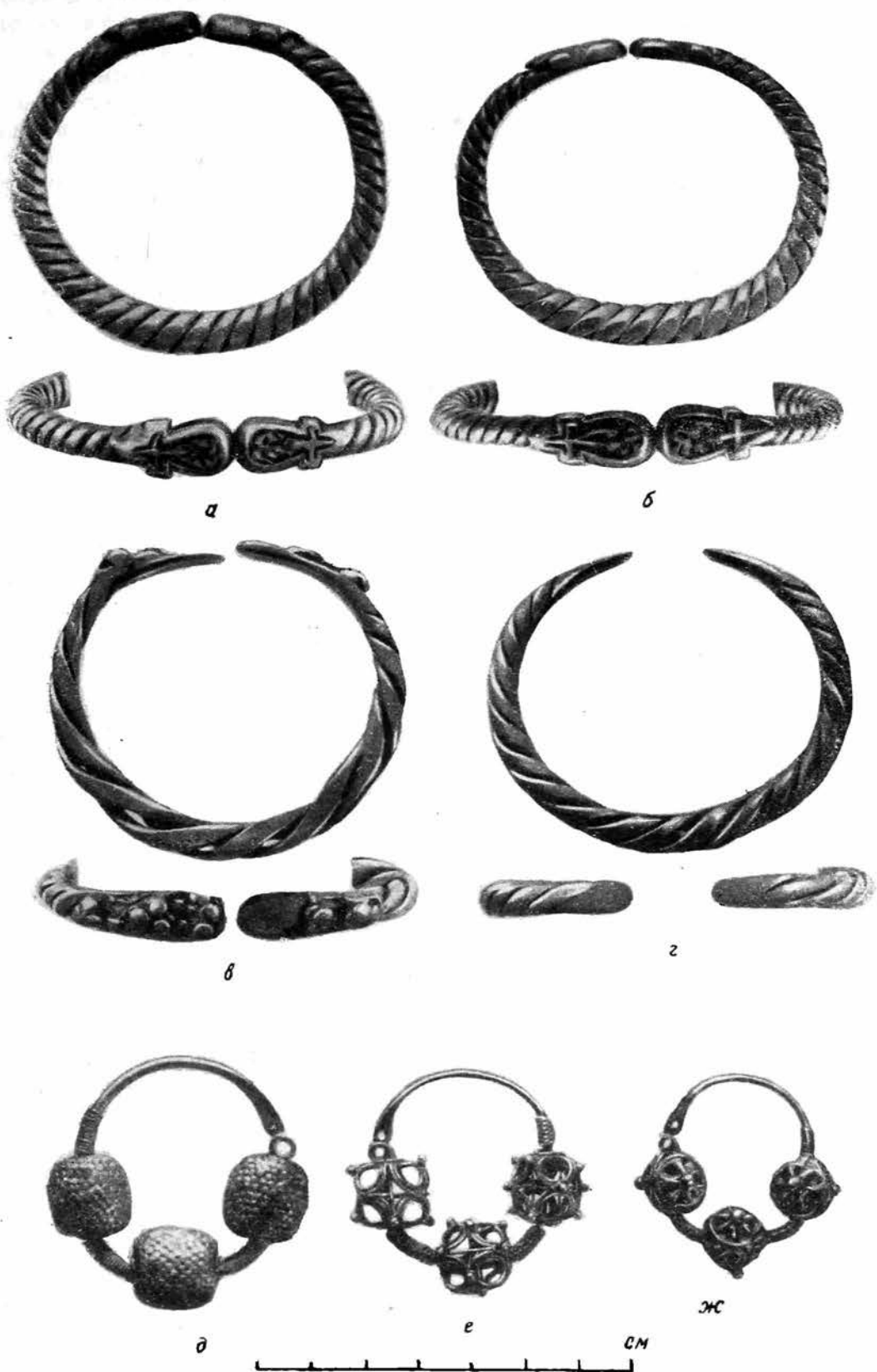


Рис. 6. Серебряные браслеты (а—г) и серьги (д—ж) из Киевского клада 1876 г. с усадьбы Ю. Чайковского.

имуществом ризниц, из церкви Спаса могла быть вынесена и чаша. Однако это, конечно, не более, чем предположение. Ясно только одно, что в землю чаша попала не непосредственно из ризницы, а была зарыта каким-то светским лицом. Чьи-то руки наполнили ее золотыми и серебряными женскими украшениями — серьгами, колтами и браслетами — и бережно прикрыли второй чашей. Эта вторая чаша, как я говорила выше, мало выразительна, и о ней можно сказать с уверенностью только одно, что она по своему происхождению не русская. Было ли это случайным совпадением, что в одном кладе оказалось две нерусских чаши, или они странствовали вместе, неизвестно, но возможно, что и вторая чаша некогда входила в состав имущества Евфимии Владимировны. Когда и почему владельцы этих драгоценностей оказались вынужденными спрятать их в землю, установить трудно.

Все сохранившиеся серебряные украшения клада относятся к XII в., примерно к третьей его четверти. Это, в первую очередь, вещи с чернью — пара колтов и два парных браслета. Из сережек только одна ажурная может оказаться более старой (первой половины XII в.), но такие серьги делали и во второй половине XII в. Все же остальные серьги (крупные зерновые и с бусами из трех конусов) типичны для второй половины XII в. О золотых вещах сказать что-либо определенное трудно, описания их слишком суммарны. Однако золотые вещи все реже встречаются вкладах XII в. В последней четверти XII в. они почти полностью отсутствуют. В кладе же Чайковского их довольно много (пара колтов и 14 сережек). Наличие их в кладе, а также хорошая сохранность серебряных вещей говорят о том, что вещи были в употреблении сравнительно короткий срок. Хрупкие, непрочные колты с ажурной каймой почти никогда не встречаются так хорошо сохранившимися, как колты этого клада. Большой частью их находят рассыпавшимися на множество мелких кусочков. Вещей явно поздних (конца XII—XIII вв.) в кладе нет. Следовательно клад мог быть зарыт еще в XII в., задолго до монгольского завоевания.

Предложенное мною объяснение появления в кладе Чайковского серебряной чаши с латинской надписью, безусловно, следует считать только одним из многих возможных вариантов. Если встать на тот путь, по которому мы шли до сих пор, то можно указать еще на ряд тесных родственных связей с венгерским королевским домом, не говоря уже о многочисленных перекрестных браках, заключавшихся между польским и сербским королевскими домами¹ и членами разветвленного русского княжеского рода. Так, дочь Ярослава Мудрого была выдана замуж за венгерского короля Андрея I.² В 1104 г. «ведена Передьслава, дщи Святополча в Угры за королевич августа в 21 день».³ В 40-х годах XII в. за венгерского короля Гейзу II была выдана Ефросинья Мстиславна, внучка Владимира Мономаха, следовательно, двоюродная сестра злополучного Бориса Коломановича.⁴ Брат Ефросиньи Мстиславны, Владимир Мстиславич, в 1150 г. женился на родственнице венгерского короля Гейзы II.⁵

Примеры можно было бы умножить. Все эти родственные связи между княжескими домами соседних стран создавали почву для про-

¹ Л. М. Савелов. Родство потомков Владимира святого с домом Пястов. Сб. статей в честь гр. П. С. Уваровой, М., 1916, стр. 249 и сл.

² Там же, приложение I.

³ Лавр. и Ипат. лет. под 6612(1104) г. — С. П. Розанов, ук. соч., стр. 586—588. — В. Г. Васильевский, ук. соч., стр. 265.

⁴ Ипат. лет. под 6657(1149) г. — С. П. Розанов, ук. соч., стр. 658.

⁵ Ипат. лет. под 6658(1150) г.

викновения русских вещей на Запад и западных на Русь. Каждый визит, а в особенности сватовство и свадебные торжества сопровождалось бога-



Рис. 7. Серебряные колты из Киевского клада 1876 г. с усадьбы Ю. Чайковского.

а и в — лицевые стороны, б и г — оборотные стороны.

тыми подарками в виде роскошных тканей и одежд и всякой драгоценной золотой и серебряной утвари.¹

¹ С. П. Розанов приводит одно любопытное известие из хроники Альберта Штатенского. Вторая жена Святослава Ярославича Ода, овдовев, уехала с сыном к себе на родину. Она «собрала такое множество драгоценностей, что с собой могла увезти только часть, а прочее закопала в надежном месте, причем, чтобы скрыть следы клада, велела или согласилась убить зарывавших его рабов. Потом, будто, сын ее, вернувшись в Россию, перед смертью опять завладел этими сокровищами» (С. П. Розанов, ук. соч., стр. 623, примеч. 1).

Встает, однако, вопрос о возможности дальнейшего использования в Киевской Руси этой «латинской» утвари — различных сосудов, чаш, кувшинов, блюд и т. д. Мы не знаем, пользовались ли ими в быту или на них смотрели главным образом как на материальную ценность. Легендарный клад «латинских» сосудов, закопанный, якобы, в Варяжской пещере на Печерске, прельщал всех в первую очередь именно как огромная материальная ценность.

Латинская чаша из клада Чайковского не была церковным сосудом, это была светская вещь с нравоучительной надписью. Смысл этой надписи был вполне понятен как «латинянам», так и русским. Как указано выше, аналогичная по содержанию надпись была найдена Я. И. Смирновым на солонке в музее Клюни в Париже: «когда сидишь за столом, прежде всего думай о бедняке». Она, действительно, близка латинской надписи на Киевской чаше: «подкрепляющий чрево, помни о бедняке». И в русской литературе мы находим подобные изречения. Так, в Столовце Геннадия, вошедшем в Изборник Святослава 1076 г., находим ту же мысль в одном из его ста наставлений: «сядящю ти над многоразличною трапезою, помяни и сух хлеб ядущтааго».¹ В моленни Даниила Заточника мы также читаем: «но егда веселишися многими брашны, а мене помяни сух хлеб ядуща».² Таким образом, по своему содержанию латинская надпись на Киевской чаше могла быть понятной и могла не вызывать в сознании ее русского владельца чувства протеста или неприязни. Однако эта надпись слишком откровенно подчеркивала явную принадлежность чаши к «латинскому» миру, и это могло вызывать к ней особое отношение.

Известно, что после разделения церковей шла ожесточенная борьба за чистоту православной веры, выразившаяся в создании целой серии полемических сочинений в виде посланий против латинян. Эти послания падают как раз на тот период времени, которым мы здесь больше всего занимались — на вторую половину XI в. и на первую четверть XII в. (1068—1121 гг.).³

В этих посланиях, отличавшихся крайней нетерпимостью не только к вере латинской, но и вообще ко всему латинскому, мы как будто находим ответ и на интересующий нас вопрос. В «Послании» киевского митрополита Никифора, умершего в 1121 г., говорится: «нам же православным христианом не достоит с ними (латиною, — Г. К.) ни ясти, ни пити, ни целовати их; аще случится правоверным с ними ясти по нужди да кроме поставлять им трапезы и съсуды их. .».⁴ Судя по приведенному тексту, запрещалось давать пищу в своих сосудах людям неправославной веры, чтобы они не осквернили их («ибо ядять со псы в едином сосуде»). Отсюда следовало бы сделать вывод, что пользование чужой посудой было безусловно запрещено. Однако в другом послании,

¹ В. Шимановский. К истории древнерусских говоров. Исследование с приложением полного текста Сборника Святослава 1076 г. Варшава, 1887 г., Приложение, стр. 016, лист текста Изборника 40а.

² Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Приготовил к печати Н. Н. Зарубин. (Памятники древнерусской литературы, вып. 3, Л., 1932, стр. 15).

³ Таковы: Слово Феодосия игумена (Печерского монастыря о вере Варяжской (до 1068 г.); Стязание митрополита Георгия с Латиною (до 1079 г.); Послание папе Клименту III киевского митрополита Иоанна об опресноках (1080—1089 г.); Послание к латинам русского митрополита Леонтия (до 1008 г.); Послание митрополита киевского Никифора (до 1121 г.) и ряд переводных с греческого посланий того же и более раннего времени. См.: А. Попов. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI—XV вв.). М., 1875, гл. 1.

⁴ А. Попов, ук. соч., стр. 116.

озаглавленном «Вопрошание князя Изяслава, сына Ярославля, внука Володимирова, игумена Печерского великого Феодосия о Латине», указывается известный выход из такого положения. После аналогичного запрещения «ни с ним из единого судна ясти ни пити, ни брашна их примати», дается указание, как поступать в исключительных случаях: «тем же пак(и) у нас просящим б(ог)а ра(ди) ясти и пити дати им, но в их судех, аще ли не буд(ет) у них судна, в своем дати, потом измывши дати м(о)л(и)тву», после чего можно было продолжать пользоваться ею. По видимому и «латинские» дары не лежали мертвым кладом в княжеских кладовых, но после совершения над ними каких-то очистительных манипуляций включались в княжескую обиходную утварь. Возможно, однако, что пользование явно чужеземной посудой, такой, например, как чаша из клада Чайковского, и было несколько затруднено.

Киевская Русь никогда не чуждалась и не отгораживалась от соседей, перенимая у них лучшее. Тем не менее, следует отметить, что среди огромного количества памятников материальной культуры и искусства, собранных в наших музеях, мы с трудом можем найти полтора десятка предметов западного искусства, проникших к нам в период существования Киевской Руси, и еще значительно меньше предметов, которые были бы сделаны русскими мастерами в подражание западноевропейским образцам. Очевидно искусство Запада не находило себе отклика ни во вкусах мастеров, ни во вкусах их заказчиков. Отдельные западноевропейские вещи, попадавшие на Русь, оставались изолированными и не вызвали подражания. Такое отношение к западноевропейскому искусству объяснялось, конечно, не какими-либо церковными запретами, а тем, что веками складывавшаяся своеобразная и богатая культура Киевской Руси имела свой особый склад, заставлявший ее оставаться равнодушной к несозвучной ей культуре Запада.
